

О предмете исторической риторики

И. В. Кузнецов

НОВОСИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

1. Постановка проблемы и понятийный аппарат

Предметом изучения науки о литературе выступает художественное литературное произведение. Им занимается поэтика, существующая в двух основных разделах: как теоретическая и историческая поэтика. Есть давняя традиция, в которой складывалась и развивалась эта дисциплина: в России она связана с трудами А. А. Потебни, А. Н. Веселовского, М. М. Бахтина, О. М. Фрейденберг, исследователей русской формальной школы; на сегодняшнем этапе в российском литературоведении созданы суммирующие труды Н. Д. Тмарченко и С. Н. Бройтмана.¹

Однако в поле зрения поэтики постоянно попадают объекты, маргинальные по отношению к предмету, определяемому как «художественное произведение». В частности и в особенности это касается средневековой письменности, применительно к которой о «художественности» можно говорить лишь с большой натяжкой, имея в виду, что средневековая «художественность» принципиально отличается от нововременной.

Возьмем, например, такой феномен, как русская летопись. Она возникает и развивается на фоне функционально-типологически подобных явлений в других мировых литературах: византийских хроник, «Истории иудейской войны» Флавия и др. Это исторические по своим задачам сочинения; и подход к ним с позиций поэтики если и возможен, то во всяком случае второ-

¹ См.: Веселовский А. Н. Историческая поэтика. М., 1940; Потебня А. А. Эстетика и поэтика. М., 1976; Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1986; Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. М., 1978; Томашевский Б. В. Теория литературы: Поэтика. М., 1996; Бройтман С. Н. Историческая поэтика. М., 2001; Теория литературы: В 2 т. / Под ред. Н. Д. Тмарченко. М., 2004.

степенен. Та же ситуация с сочинениями, представляющими собой богословско-политические трактаты: такими, например, как «Слово о Законе и Благодати». А между тем последний памятник традиционно рассматривается как один из краеугольных камней древнерусской письменности. Значит ли сказанное, что мы должны изымать его из литературы как целого и подвергать описанию с каких-то особых позиций?

Проблематичность применения методов и категорий поэтики в названных случаях связана, видимо, с тем, что сама поэтика как наука, насколько бы далеко она ни заходила в генетических и историко-типологических обобщениях, существует и работает в интенциональной перспективе художественности. Художественность произведения, как показал М. М. Бахтин, предполагает присутствие в его внутреннем мире двоих субъектов: автора и героя.² Но ни в истории, ни тем более в богословии героя как единого «ценностного центра» нет. А значит, нет и не может быть художественного события. Тогда сама возможность рассмотрения произведений, подобных названным, с точки зрения поэтики представляется довольно искусственной. И поэтому вполне закономерно, что в современном пособии по исторической поэтике С. Н. Бройтмана летописание и торжественное красноречие не включается в состав рассматриваемого материала.³

И тем не менее, «Слово о Законе и Благодати» есть литературное произведение (а если нет, то что это такое?). Более того, история литературы уверенно (и справедливо) ставит его и другие подобные памятники в единый ряд произведений, продолжающийся до наших дней и связанный известной степенью преемственности в том, что касается приемов и способов оформления речи.

А если так, то встает вопрос и об основаниях системного рассмотрения литературы как внутренне, сущностно единого ряда произведений. Из сказанного видно, что подход к литературе с позиций поэтики, через призму соотношения автора и героя, не дает таких оснований, поскольку круг рассматриваемых фактов оказывается относительно сужен.

Другой возможностью в поиске системных оснований мог бы стать семиотический подход к литературе – как к знаковому феномену. Этот подход интенсивно разрабатывался в российской и зарубежной науке на протяжении нескольких последних десятилетий и принес ощутимые результаты.⁴ Однако обнаружилась и уязвимая сторона этого подхода, связанная с тем, что абсолютизация знаковости дает повод включать в состав материала явления, стоящие ближе не к литературе, а к области повседневной коммуникации. Скажем, газетная заметка «на злобу дня» в семиотическом отношении оказывается предметом, равноправным с шедевром художественного творчества. Открывается противоположная крайность: если при эстетическом подходе круг объектов сужается, то при семиотическом он непомерно расширяется.

² См.: Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1986.

³ См.: Бройтман С. Н. Историческая поэтика. М., 2001.

⁴ См. работы Ю. М. Лотмана, Б. М. Гаспарова, А. К. Жолковского и др. исследователей этого направления.

Очевидно, необходим некий третий путь. Предположительно, он может открыться, если рассматривать литературное произведение как одну из исторических форм слова – высказывания. «Когда по-русски мы говорим *«слово»*, то имеем в виду и целую речь, и отдельное предложение, и каждую отдельную часть речи... Греческое слово: *λογος* опять-таки имеет значение *и* речи, *и* отдельной фразы, и отдельного слова, в узком смысле,»⁵ – писал П. А. Флоренский. Похожим образом мыслил и М. М. Бахтин, считавший, что «в известном плане возможно... сопоставление целого высказывания со *словом*»⁶.

Научные работы М. М. Бахтина создают вескую предпосылку для рассмотрения литературного произведения как слова-высказывания. Это высказывание, по Бахтину, бытует в качестве металингвистической реплики диалога социокультурного взаимодействия. «Можно понимать диалог широко... Книга, то есть печатное речевое выступление, также является элементом речевого общения,»⁷ – так, в частности, рассуждал ученый в 1920-е годы. Тем самым литературное, в том числе и художественное, произведение помещалось в более широкий интерпретативный контекст, нежели система понятий эстетики. Высказывание художественного характера оказалось возможным рассматривать в ряду прочих проявлений речевой деятельности – общения.

Но сам же Бахтин и проводил принципиальную границу между различными типами высказываний. Прежде всего это касается его различия «первичных» и «вторичных» речевых жанров. Называя вторичные жанры «сложными», а также «идеологическими», ученый включал в их число «романы, драмы, научные исследования всякого рода, большие публицистические жанры и т. п.»⁸. В противовес им, первичные жанры складываются в условиях «непосредственного речевого общения», имеют «непосредственное отношение к реальной действительности и реальным чужим высказываниям»⁹.

Мы видим, что драма, научный трактат и публицистическая статья рассматриваются М. М. Бахтиным рядоположно. Возвращаясь к поставленному выше вопросу, можно предположить, что искомый «третий подход» в том и заключается, чтобы рассматривать в качестве предмета такие высказывания, которые принадлежат, по Бахтину, к сфере «вторичных» речевых жанров.

Таким образом определяется область предмета. В нее входят высказывания, «возникшие в условиях более сложного и относительно высокоразвитого культурного общения»¹⁰. Эстетические феномены также входят в эту область, но лишь как один ее особый участок. И в эту область не входят обиходные, «жизненно-практические» высказывания. В той же работе Бахтин предупреждает

⁵ Флоренский П. А. Мысль и язык // Флоренский П. А. Т. 2. У водоразделов мысли. М., 1990. С. 207. Здесь и далее в цитатах курсив принадлежит авторам.

⁶ Бахтин М. М. 1961 год. Заметки. С. 336.

⁷ Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка. Л., 1928. С. 113.

⁸ Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. С. 252.

⁹ Там же.

¹⁰ Там же.

дал, что «односторонняя ориентация на первичные жанры неизбежно приводит к вульгаризации всей проблемы»¹¹.

Но «вторичные речевые жанры» – это не определение предмета. Жанр – это исторически сложившаяся «форма целого высказывания»¹², возможность его конкретного осуществления и бытования. А если ставится задача системного рассмотрения литературы, то предметом должны стать высказывания, взятые в их сущностном аспекте.

Ход дальнейших рассуждений в настоящей статье составляет попытку приблизиться к определению предмета систематического учения о высказываниях, бытующих в форме вторичных речевых жанров. При этом очевидно, что даже предварительно очерченное понимание предмета выводит исследование за рамки поэтики как научной дисциплины. Возможно, правильнее было бы обозначить эту проблематику как относящуюся к области риторики – но не риторики в классическом понимании, то есть искусства красноречия, а «научной дисциплины, постигающей глубинные механизмы человеческой коммуникации»¹³.

* * *

Художественное произведение в его эстетической специфике было увидено М. М. Бахтиным в более широком феноменологическом контексте – в контексте коммуникации. Но этот контекст, как представляется, не окончательный. У Бахтина же мы находим включение феноменов эстетического круга в контекст, связанный с этическими категориями: ученый рассматривал всякую мысль (и слово, как мысль высказанную) как «индивидуально-ответственный поступок»¹⁴. Мысль и слово у Бахтина выступают как ценностное действие, своим фактом приобщающее индивида к универсуму бытия.

Бахтин не был одинок в понимании слова как действия. Интуиция, связывающая эти явления, в эстетически ориентированную модернистскую эпоху проходила через понятие «творчества» и, по-видимому, была с ним связана самым своим возникновением. Она поэтому и распространялась не только на слово, но и на другие виды художественного действия, на искусство вообще. Можно сказать, что понятием «творчества» задавалась парадигма, внутри которой мыслились другие понятия, в том числе и понятия религиозного круга. Показательны в этом отношении поиски младосимволистов и среди них особенно Вяч. Иванова, который, в частности, утверждал тезис «мифотворчество

¹¹ Там же.

¹² Медведев П. Н. Формальный метод в литературоведении. Репринт. изд. New York, 1974. С. 175.

¹³ Тюпа В. И. Основания сравнительной риторики // Критика и семиотика. Вып. 7. Новосибирск, 2004. С. 66.

¹⁴ Бахтин М. М. К философии поступка // Бахтин М. М. Работы 20-х годов. Киев, 1994. С. 12.

– творчество веры»¹⁵, таким образом выводя «веру» в логически зависимую от «творчества» позицию. Тот же Вяч. Иванов уточнит свою мысль, когда определит творчество как «модус субстанции жизни», как квинтэссенцию культуры и ценностно последней как готовой данности противопоставит. «Самое имя “культура” достаточно сухо и школьно... потому что не включает в себя понятия творчества: тогда как то, что мы за отсутствием другого слова принуждены называть культурой – есть именно творчество.»¹⁶

И если так, то можно говорить о художественном произведении, во-первых, как об этическом акте, о поступке, во-вторых, как о *творческом жесте*; и рассматривать его в соответствующих аспектах и контексте.

Но этические категории, как они виделись М. М. Бахтину, обладают ярко выраженной религиозной, точнее – христианской природой. «Мир, где совершилось событие жизни и смерти Христа в их факте и их смысле, принципиально неопределим ни в теоретических категориях, ни в категориях исторического познания, ни эстетической интуицией.»¹⁷ – писал Бахтин, таким образом подчиняя поступательную событийность вообще архетипическому Событию Страстей Христовых. Учитывая категориальный примат поступательной событийности у Бахтина, можно отсюда делать вывод о христианской доминанте его философии.

И действительно, основной предмет бахтинских штудий – общение, диалог, или, говоря современным языком, коммуникация – обнаруживает связь с предметом религиозной философии, особенно той ее части, где обосновывается единство человека и Творца в Св. Духе. «Связь с религиозно-философской традицией имманентна бахтинской концепции автора и героя.»¹⁸ Возникающие смысловые параллели создают почву для того, чтобы как минимум попытка некоторого интегрирования методологии стала оправданной.

Задача такой интеграции – сугубо филологическая. Бахтин «стал филологом, не перестав быть мыслителем»¹⁹. Поэтому ключевые концепты религиозной философии могут приобрести актуальность также и в изучении литературы. Сознательное привлечение соответствующего понятийного аппарата должно помочь определить онтологический и познавательный статус как единичного предмета науки о литературе – произведения, так и ее метапредмета – литературы, в их взаимосвязи.

¹⁵ Иванов Вяч. Ив. Две стихии в современном символизме // Иванов Вяч. Ив. Лик и личины России: Эстетика и литературная теория. М., 1995. С. 129.

¹⁶ Иванов Вяч. Ив. О веселом ремесле и умном веселии // Иванов Вяч. Ив. Лик и личины России. С. 162.

¹⁷ Бахтин М. М. К философии поступка. С. 23.

¹⁸ Тамарченко Н. Д. «Эстетика словесного творчества» Бахтина и русская религиозная философия. М., 2001. С. 99.

¹⁹ Шайтанов И. О. Бахтин и формалисты в пространстве исторической поэтики // М. М. Бахтин и перспективы гуманитарных наук. Витебск, 1994. С. 19.

* * *

Поскольку поставлена задача – обосновать сущностное единство литературы как целого, то представляется естественным для этого оперировать одним из центральных понятий эллинистической философии – понятием *смысловой сущности*. (греч. οὐσία). Христианская мысль по форме эллинистична, и категория смысловой сущности для нее является опорной. В соответствии с платонической традицией, во всяком предмете эта мысль видит эйдетическую сущность, которая обладает разумной, умопостигаемой природой. Как все бытие в целом имеет своей сущностью смысл, так и отдельные вещи и явления, по причастности бытию, осмысленны. Поэтому когда мы начинаем мыслить предмет, то по умолчанию предполагается, что он смыслообразен; а значит, диалог с ним предстоит вести в поле смыслового, нозтического взаимодействия. Основу соотношения высказывания с его предметом создает принцип онтологической сопряженности предмета и мысли о нем, их единосущности. Говоря об этом, мы подчеркиваем методологическое отличие принятой здесь позиции от распространенной и авторитетной точки зрения, называемой Б. Кассен «логологической» и предполагающей «настоятельное указание на перформативную автономию языка и на порождаемый им эффект мира»²⁰.

Сопряженность бытия и мышления не означает их тождества: бытие полнее, нежели мышление о нем, поскольку первое целостно в своей немыслимости, а второе дискретно и всякий раз предстает как отдельность мыслительного факта. То же справедливо и в случаях, когда мыслится не бытие вообще, а некий предмет. «Если мы берем бытие целиком, то ему уже не от чего отличаться... Такова единичность мира в целом, такова единичность и каждой вещи в отдельности.»²¹ Однако принцип сопряженности остается главенствующим; и подобно тому как говорится о связи бытия и мышления вообще, следует говорить о связи конкретного предмета и конкретной парадигмы мыслительных категорий.

При таком подходе к произведению как предмету в центре внимания оказывается сущностная смысловая основа литературы и то, как она обретает становление в человеческом творчестве. Соответственно, именно категория смысловой сущности выступает фундаментом системы остальных понятий.

Далее, поскольку сущность становится в человеческом творчестве, то возникает потребность оперировать также понятием *монады* (греч. μονάς), трактуемым как единство сущности, а также единица смысла. Г. В. Лейбниц, в философии Нового времени поставивший понятие «монада» в центр своей системы, определял ее и как «энтелехию»: «всем простым субстанциям или сотворенным монадам может быть дано название *энтелехий*»²². Ник. Кузан-

²⁰ Кассен Б. Эффект софистики. М.-СПб., 2000. С. 10.

²¹ Лосев А. Ф. Диалектика художественной формы // Лосев А. Ф. Форма – Стиль – Выражение. М., 1995. С. 11.

²² Лейбниц Г. В. Монадология // Лейбниц Г. В. Избранные философские сочинения. М., 1908. С. 343.

ский, опираясь на античную традицию, изначально использовал этот термин в применении к Божественному принципу первоединства: «Единое, или монада»²³.

Монады у Лейбница подлежали типологии согласно уровням их смысловой организации. Типологизирование необходимо и неизбежно и для решения нашей задачи; однако будем помнить, что там, где речь идет о творчестве и коммуникации, монада может мыслиться только как личность, персоналистически. В таком персоналистическом аспекте естественно мыслиться два существенных «уровня»: Бог и человек. Есть и еще один «уровень», промежуточный относительно двух названных и традиционно мыслимый в христианской культуре: это «соборная» личность, смыслообразное и смыслоцентричное объединение человеческих личностей, эмпирически оформляющееся как народность, конфессия и т. п.²⁴ По-видимому, персоналистически могут мыслиться только монады названных «уровней». В принципе, если вслед за Лейбницем рассматривать монады как «атомы природы», то типология может быть продолжена в «отрицательную» относительно человеческой личности сторону. Для филологических задач, однако, такое продолжение представляется несущественным, поскольку о творчестве применительно к «животным» и т. п. монадам говорить невозможно.

Таким образом, имеются три типа монад, соответствующие трем смыслообразным сущностным уровням. Первый уровень – монада человеческой личности. Для обозначения монад второго, «соборного» уровня используем термин структурной антропологии – «тотем»²⁵. Третий уровень, абсолютный – монада Божественной личности. Выделяя этот уровень, мы трактуем термин скорее в духе переосмысленной космологии, нежели в духе Лейбница, который применяет его только к сотворенной природе. Напротив, здесь принцип творчества, изначально Божественный, сообщается монадам двух других уровней.

Наконец, едва ли не важнейшее далее понятие – *логос* (греч. λογος). Разумная сущность познает себя в слове. Первенство слова как способа самопознания сущности зафиксировано в самом языке, этимологически. «Логос» – термин, которым по-гречески обозначается слово – это не только слово в его лингвистическом понимании, но прежде всего становящийся смысл; это «противоположность всему безотчетному и бессловесному... бессмысленному и бесформенному в мире и человеке»²⁶. С. Н. Трубецкой, рассматривая историю

²³ Николай Кузанский. Берилл // Николай Кузанский. Сочинения: в 2-х т. М., 1979. Т.2. С. 106.

²⁴ Заметим, что когда речь идет об «уровнях», то видимая иерархия связана не с их ценностью, а со степенью сложности смысловой организации. Принцип персонализма предполагает суверенную уникальность всякой личности, не допускающую аксиологического ранжирования.

²⁵ Термин не вполне удовлетворительный, поскольку приходится пояснять, что «тотем» – это тоже «личность». – С другой стороны, он провоцирует культурно-типологические параллели, и в возможной исследовательской перспективе это не плохо. – Пусть этот термин будет принят как рабочий.

²⁶ Логос // Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 323.

античных учений о логосе, уделял особое место концепции Филона Александрийского, в которой Логосу придается роль квинтэссенции энергий Единого Божества. У Филона Логос – орудие ветхозаветного Откровения. «Логос есть энергия Божества или сумма Его энергий... Он есть связь мира, его внутренний закон и вместе как бы его душа... Наконец, Логос есть тварно-личный посредник между Богом и миром...»²⁷

В эллинистической трактовке логос понимается как способ связи познания и действительности. Божественный Логос разлит в природе, и Он же составляет центральную часть человеческой души. «Всякая тварная вещь имеет точку соприкосновения с Божеством: это – ее идея, ее причина, ее “логос”... Все было сотворено Логосом, Который представляется Божественным средоточием, очагом, откуда исходят творческие лучи, частные “логосы” отдельных существ...»²⁸ Единство природы Логоса как эманации Божества и как конструктивного принципа человеческой души обеспечивает способность последней к познанию мира, Логосом устроенного. «Подобно тому как все божественные силы заключены в Логосе... так точно и в нашей душе все силы имеют своим источником и средоточием... разумный дух.»²⁹ Логос, таким образом, выступает как принцип связи и подобия между Богом и человеком; сплошность его природы создает возможность понимания, познания и творчества.

По отношению к смысловой сущности Логос есть ее становящееся существование, ее само-полагание в инобытии, модус ее динамики. Логос воплощается в словесной форме: она для него является адекватной. «Слово есть практическая форма сознания, мыслящего данный предмет,»³⁰ – пишет современный ученый. И в таком случае словесность народа, рассматриваемая как целое, есть логос его смысловой сущности – логос «народного духа», в терминологии немецких философов-романтиков.

Поскольку сущность мыслима дискретно, в качестве монады, то возникает почва для классификации как логосов, так и коммуникативных ситуаций.³¹ Общение как личностное взаимодействие может осуществляться в интенциональной перспективе трех коммуникативных полей, соответствующих трем названным выше уровням смысловой организации сущности. Первый уровень – повседневно-бытовой: это общение, происходящее в жизненно-практических ситуациях. Человеческие личности в таком общении связываются логосами практических обиходных высказываний. Схема коммуникации: *личность – личность*.

На втором уровне личность-адресант (говорящий, носитель высказывания) обращается не к другой личности, а к «тотему». При этом формальная адресация может осуществляться и к конкретному человеку или группе людей.

²⁷ Трубецкой С. Н. Учение о Логосе в его истории. М.; Харьков, 2000. С. 151-152.

²⁸ Лосский Вл. Очерк мистического богословия Восточной церкви // Мистическое богословие. Киев, 1991. С. 158-159.

²⁹ Трубецкой С. Н. Учение о Логосе в его истории. С. 163.

³⁰ Федоров В. В. О природе поэтической реальности. М., 1984. С. 42.

³¹ Еще раз подчеркнем, что классификация здесь не означает ценностного ранжирования.

Пример такого рода коммуникации – открытые письма государственных деятелей, стихотворные послания, рассчитанные на обнародование, политические речи. Показателем второго уровня выступает молчаливая установка на распространение высказывания за пределы формально адресуемой аудитории. Говорящий соизмеряет свое слово не с этой аудиторией, а с большей, и соответствующим образом организует архитектуру высказывания. Схема коммуникации: *личность – тотем*.

На третьем уровне адресация осуществляется к предельному уровню Сущности. Адресатом говорящего / пишущего выступает все бытие целиком, к которому он апеллирует своим словом и с которым, главное, в таком случае *себя соизмеряет*. Формальная адресация здесь в еще большей степени, чем на втором уровне, факультативна. Такова молитва; такова сосредоточенная медитация; такова, наконец, настоящее искусство. Схема коммуникации: *личность – бытие, Бог*.

Как видно, критерием различения этих трех случаев выступает то, с каким уровнем сущности, с личностью какого уровня соотносит свое высказывание говорящий. Однако не только характер адресации определяет различие типов логоса. Структура коммуникативного события трехкомпонентна: это центральный постулат риторики от античности до наших дней.³² Говорящий, адресуемый и предмет речи в нем связаны взаимной обусловленностью. Характер адресации предполагает определенный тип речевого поведения самого говорящего. Но главное то, что речевая деятельность организуется вокруг некоторых объективно сущих тем, задающих коммуникативные ситуации. Темы втягивают в зону, в поле своей энергетики интересы носителей речи и ее воспринимающих. В ту или иную эпоху некоторые темы выходят на передний план жизни, «магнетизируются», заставляя возвращаться к себе массы людей, овладевая их вниманием, и оттого приобретая все большую реальность: ведь именно внимание заключает в себе ту мощнейшую энергию – психическую энергию – которая вызывает из не-сущего предметы и явления, создает события, вообще, формирует облик становящегося бытия.

Понимание сущностных уровней и как коммуникативных полей побуждает далее использовать термин *интенция*, обозначающий намерение участника коммуникации, обращенность его к тому или иному смыслообразному субстанциальному уровню, которому принадлежат и предмет речи, и ее адресат. Интенциональность понимается здесь по-гуссерлиански, как свойство сознания «в качестве *cogito* нести в себе свое *cogitatum*»³³ и быть направлен-

³² О троякости речевого акта говорил еще Аристотель: «Речь состоит из трех элементов: самого говорящего, предмета, о котором он говорит, и лица, к которому он обращается». Аристотель. Риторика // Аристотель. Риторика. Поэтика. М.: Лабиринт, 2000. С. 14. В. И. Тюпа, апеллируя к работам Бахтина-Волошинова и Хабермаса, предлагает рассматривать три «дискурсивные компетенции» – креативную, референтную и рецептивную – как «конститутивные инстанции» речи. – См.: Тюпа В. И. Основания сравнительной риторики // Критика и семиотика. Вып. 7. Новосибирск, 2004. С. 66-87.

³³ Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб, 1998. С. 96.

ным к некому «горизонту... в котором осуществляются отсылки к открытым для самого переживания потенциальностям осознания»³⁴.

Интенция присуща обоим участникам коммуникативного события: и говорящему, и воспринимающему. Со стороны воспринимающего структура коммуникативного события представляется симметричной стороне носителя речи. Адресат дискурса тоже интенционален, но его интенциональность коррелируется знаковой формой высказывания. В момент приобщения к виртуальному полю дискурса, момент понимания предмета, носитель высказывания и воспринимающий сущностно едины: едины в логосе, возможно, в Духе. «Слушатель в акте восприятия слова утверждается на точке зрения говорящего... нет разницы, актуальной для говорящего и слушающего как “биографических личностей”. Точка зрения и воспринимаемый в ее перспективе предмет являются, во-первых, компонентами структуры слова... с другой стороны... являются компонентами сознания субъекта слова... являются компонентами структуры сознания слушателя.»³⁵ Однако вне обретения этого единства типы интенциональности носителя высказывания и воспринимающего различны. Особенность интенции воспринимающего связана с тем, что он ожидает именно такого, а не другого высказывания: в конкретной ситуации определенным образом оформленного, тематически ориентированного. Носитель высказывания и воспринимающий, следовательно, должны обладать «встречными намерениями», причем «встреча» их состоится только во вполне определенной референтной зоне.

Виртуальная объективность таких референтных зон помогает решить вопрос о корректной атрибуции интенции как свойства. Бытие и Логос сущностно едины; и всякий субъект действия, в том числе и высказывания, и мысли, выступает «агентом» Первопричины: в его мысли и слове Сущность познает сама себя. При этом для Логоса, который един и универсален в любой монаде, уровневые различия не конститутивны: он «дышит, где хочет». Они конститутивны для частных логосов в конкретных актах коммуникации. А если так, то, вероятно, следует говорить о ситуативной обусловленности интенционального само-полагания монады. Сущностный порядок адресации и собственная типологическая модальность частным логосом избирается свободно, однако ситуативно. Внутренним же условием само-полагания выступает *потенциальность* творящей монады, способность ее своими энергиями проникнуть инобытие до того или иного уровня, где оказывается возможной разумность.

И тогда можно предположить, что всякому частному логосу органически присуще качество *порядка интенции*. В зависимости от собственного потенциала и коммуникативной ситуации, монада человеческой личности интенционально полагает себя в логосе, связующем ее со смысловой сущностью

³⁴ Там же. С. 114. Естественно, при этом «выносятся за скобки» картезианский субъективизм, от которого Гуссерль все-таки не уходит, признавая в качестве «первого бытия» «трансцендентальную intersубъективность», которая у него де-факто конструируется рационально.

³⁵ Федоров В. В. О природе поэтической реальности. С. 42.

а) другой личности; б) «тотемных» образований; с) Абсолюта. *Эти три случая соответствуют логосам и интенциям трех порядков: а) личностного, б) тотемного, с) универсального.*

2. Смысловое конструирование предмета

0. Чтобы увидеть верно предмет, мы должны прежде всего точно уяснить, чем он *не является*. Есть целый ряд свойств объекта, которые не имеют отношения к его предметной структуре. «Объект существует независимо от знания... Предмет знания, напротив, формируется самим знанием.»³⁶ Мы можем иметь дело с эмпирически данным нам референциальным объектом, и так же эмпирически, вне-системно регистрировать определенные его свойства, но разумным предметом объект при этом не становится. Значит, первым делом нужно оставить в стороне все внешнее в объекте, выделив таким образом составляющие собственно предметной, разумной его структуры.

«Литература», в точном этимологическом значении слова, это «письменность». Понятие «письменности» содержит в себе формальный показатель; и если, восходя к смыслу, исключить этот показатель, то мы должны будем А) согласиться с расширением пред-стоящего нам феномена: в него войдут и письменность, и «не-письменность». В этом случае мы уже будем иметь дело не с литературой, а с чем-то другим, что по объему превосходит литературу и включает ее в себя. Будем называть этот феномен «словесностью», имея в виду, что она может быть как письменной, так и устной.³⁷

Но расширение данного феномена совершается тоже в определенных границах. Поэтому Б) рассмотрим другие критерии спецификации предмета. Словесность есть то, что осуществляется посредством слова, существует в слове, в качестве слов. Возникает повод сблизить словесность с речевой деятельностью вообще. Такое сближение небезосновательно, однако при нем в предметную сферу втягиваются и «жизненно-практические» высказывания, бытующие в форме первичных речевых жанров. Если же иметь в виду лишь те высказывания, которые состоятся в условиях «относительно высокоразвитого культурного общения» (Бахтин), то словесность предстанет как *единство письменной и устной речи, интенционально поднимающейся над повседневным уровнем коммуникации.*

Рассматривая параллельно феномены «произведение» и «литература», мы можем применить к первому те же шаги спецификации, которые применили ко второму.

А) «Произведение» не сводится к своему тексту, хотя и нуждается в нем. Существование литературного произведения – не столько эмпирическое,

³⁶ Щедровицкий Г. П. Проблемы методологии системного исследования // Щедровицкий Г. П. Избранные труды. М., 1995. С. 165.

³⁷ Это уточнение проявляет свою важность, когда в поле исследования оказывается древнерусская словесность, на материале которой моделирование смыслообразной системы возможно лишь при том условии, что литература и фольклор рассматриваются в их сущностной взаимосвязи.

сколько поэтическое: как референциальный объект, произведение предстает в текстовой форме, но его смысловое бытие состоит в ментальном плане.

Б) Существование произведения в речи – лишь внешний аспект его бытия. Как логос смысловой сущности произведение принадлежит другому кругу категорий, и этот круг – не лингвистический. Продолжим спецификацию:

С) этот круг даже и не филологический: сущностно произведение видится не в сфере речевой деятельности, и не в сфере словесности, а в сфере деятельности вообще. Произведение, как слово-логос, как металингвистически понятое высказывание – это ценностное действие автора и, соответственно, этический акт: это поступок. В лингвистике такое понимание всякого вообще высказывания появилось у К. Бюлера, который писал: «Каждое фразеологическое и нефразеологическое выражение можно интерпретировать как человеческий *поступок*... оно *стоит* в одном ряду с поступками и само *является* поступком»³⁸. В науке о литературе этическое видение произведения, как сказано выше, оформилось в работах М. М. Бахтина. Ср.: «Все, даже мысль и чувство, есть мой поступок»³⁹.

Итак, имеются три смысловые области, к которым имеет отношение литературное произведение как предмет: это а) словесность, б) речевая деятельность и в) деятельность вообще. Двинемся теперь непосредственно по пути смыслового конструирования этих трех областей, с перспективой уяснить в них положение предмета.

1. Чтобы определить предмет, следует найти его место в ряду онтологических представлений. Исходным является представление о субстанции – том, «что существует само в себе и представляется само через себя»⁴⁰. Это дорефлективное бытие, существующее вне всякой причинности и мыслимости. Здесь важно понять способ предметного бытия субстанции; а для этого следует рассмотреть ее как само-сущее и противоречиво становящееся единство, то есть рассмотреть ее диалектически.

Диалектический метод воссоздается по античным источникам в работах А. Ф. Лосева 1920-х гг.⁴¹ В реконструкции ученого этот метод предстает формализованным, и в таком качестве пригоден для операционального использования. Опираясь на античный опыт, Лосев конструирует тетрактиду – категориальную схему, состоящую из четырех начал и гипостазирующую разумное бытие всякого предмета или понятия. Эти четыре начала – *одно* (сущность), *иное* («меон»), *становление* одного в ином и наличность *факта*, несущего на себе всю полноту диалектики. Одно и иное соотносятся как тезис и антитезис, синтезируются в становлении и существуют как факт. Диалектический метод

³⁸ Бюлер К. Теория языка. Репрезентативная функция языка. М., 1993. С. 53.

³⁹ Бахтин М. М. К философии поступка. С. 14. Бахтин, в соответствии с задачей сочинения, здесь абсолютизирует категорию поступка; однако *аспект* поступка в произведении очевиден.

⁴⁰ Спиноза Б. Этика // Спиноза Б. Сочинения в 2 т. Т. 1. СПб, 1999. С. 253.

⁴¹ См.: Лосев А. Ф. Философия имени. М., 1990; Лосев А. Ф. Диалектика художественной формы // Лосев А. Ф. Форма – Стиль – Выражение. М., 1995.

тетрактиды позволяет систематизировать оперируемые понятия и определить место каждого из них в исследовании.

Тетрактида как ментальная модель предстает здесь объективированно. Однако диалектика смыслового – а значит, человеческого – бытия, принцип которой ею моделируется, имеет две стороны. Одна сторона – объективно-абстрактная: к ней относятся «одно» и «иное», сущность и инобытие, мыслимые условно вне становления и, значит, вне личностного участия. Вторая сторона – субъективно-конкретная: к ней относятся «становление», осуществляемое всегда здесь и сейчас, в моем или чьем-либо личностном понимании, и факт этого становления, предстающий как смыслообразная данность. Субъективная сторона диалектики осуществляется интер-субъектно: коммуникация, понимаемая предельно широко, и есть настоящий механизм смыслового становления.

2. Далее, будем мыслить не всю субстанцию, бытие в целом, а лишь один ее участок, один фрагмент, который связан с человеческой деятельностью. На данном этапе (и только на нем) представление о деятельности онтологизируется, и она сама мыслится субстанциально, то есть предстает как *одно* – исходное потенциальное начало всех будущих категорий, «первоединое, которое есть уже ни на что более не делимая индивидуальность и сплошность»⁴². Онтологизированное понимание деятельности отчасти сходно с тем, которое дается в работах Г. П. Щедровицкого, с опорой на иные, чем здесь, гносеологические принципы писавшего: «Деятельность должна рассматриваться не как атрибут отдельного человека, а как *исходная универсальная целостность*... То, что мы называем “деятельностью”, выступает, с одной стороны, как предельно широкая, по сути дела универсальная, *конструктивная или оперативная система*... а с другой стороны... как “*субстанция*” особого типа»⁴³.

У Щедровицкого, однако, объективная сторона деятельности доминирует над личностным становлением смыслов. Здесь эти стороны мыслятся уравновешенно. Всякий мой смыслообразный поступок есть ответная реакция на действие мира по отношению ко мне. Смысловая, смыслообразная деятельность антропоцентрична: за каждым действием, на которое я отвечаю в своем действии, стоит образ человеческого субъекта. Бывают, конечно, действия внесмысловые: крик боли, гримаса удовольствия и т. п. Но в смысловом поле культуры всякое действие интерсубъектно.

Деятельность, понимаемая сущностно, как *одно*, чтобы существовать разумно, в мышлении, требует для себя иного, в котором она обретает становление и оформляется. «Одно уже не есть *одно*, но оно еще и *есть*»⁴⁴. Таким иным для континуума человеческой деятельности выступает спектр модусов деятельности – общественных практик, ритуалов и др. – противостоящих самой деятельности, как *одному*, и дающих ей оформление. Единичность деятельности как таковой в этих практиках обретает какую-то из многих модальностей, при этом становясь одним из многого, обретая себя во *множественно-*

⁴² Лосев А. Ф. Диалектика художественной формы. С. 11.

⁴³ Щедровицкий Г. П. Исходные представления теории деятельности // Щедровицкий Г. П. Избранные труды. М., 1995. С. 241, 244.

⁴⁴ Лосев А. Ф. Диалектика художественной формы. С. 11.

сти. Многое, множественность и есть диалектическое иное деятельности как одного.

Затем между одним и иным, одним и многим мыслится момент *становления*. «Одно само есть иное иного и, следовательно, само вмещает в себе свое иное, т. е. есть становящееся одно... Третье начало есть алогическое становление логически раздельного единства.»⁴⁵ Деятельность осуществляется в форме общественных практик, и это осуществление есть поведение. Поведение – общественная категория, оно и мыслится здесь как общественное поведение, в соответствии со множественностью социальных практик – иного – тоже имеющая множество модальностей (способов).

Наконец, четвертое начало диалектики – *факт*. «Становление... требует *ставшего, факта, наличности*, которая бы *несла* на себе становление.»⁴⁶ Становление деятельности в социальных практиках осуществляется всякий раз как конкретный выбор конкретного действия, поступка. Поступок и есть тот *факт*, с которым мы имеем дело, рассматривая деятельность в ее непосредственных проявлениях. Бытие, мыслимое в своем становлении, находится вне статики, оно динамично и событийно. Становление в разуме, умное становление совершается всякий раз как событие лично атрибутированного сознания. Любое умное событие содержит в себе зерно личного самоопределения, вырастает из поступка: действия, оценивания и т. д. Поэтому как о факте деятельности мы и говорим именно о поступке в его смысловой законченности.

На этом диалектически «необходимое и в себе вполне законченное определение мыслимого и сущего»⁴⁷ заканчивается. А. Ф. Лосев называет этот начальный этап разумного конструирования предмета «первой диалектической тетрактидой». Говоря о субстанциально понятой деятельности, мы здесь поместили основные категории, из которых она по своему смыслу состоит.

3. Однако нас интересует и не вся человеческая деятельность, а лишь та ее часть, которая связана со словом – речевая деятельность. Значит, мы опять сужаем предмет и начинаем рассматривать субстанциально речевую деятельность в ее категориальном составе. Понятие «речевая деятельность» (или «языковая деятельность» – *langage*), гумбольдтианское по происхождению, регулярно использовалось в работах Ф. де Соссюра, который объединял в нем все формы и способы лингвистического бытия человеческого коллектива. Соссюр хотя и рассматривал строение *langage*, однако не давал точного определения этому понятию, лишь вскользь замечая, например, что «языки управляются определенными принципами, которые обобщены в понятии *языковой деятельности*»⁴⁸. Понятие «речевая деятельность» на сегодняшнем этапе может быть сопоставлено с понятием «языкового существования» у Б. Гаспарова, определяемого ученым как «процесс взаимодействия личности с языком», в ходе которого «язык выступает одновременно и как объект, над которым говорящий

⁴⁵ Там же. С. 12.

⁴⁶ Там же. С. 13.

⁴⁷ Там же. С. 13.

⁴⁸ Соссюр Ф. де. Три лекции в Женеве. 1891 г. // Соссюр Ф. де. Заметки по общей лингвистике. М., 1990. С. 37.

постоянно работает, приспособлявая его к задачам, возникающим в его текущем жизненном опыте, и как среда, в которую этот опыт оказывается погружен и в окружении которой он совершается»⁴⁹.

Будем исходить из того, что первоначальной, до-рефлексивной данностью, которая пред-стоит познанию, является континуум речевой деятельности общества (в пределе, человечества). Этот речевой континуум на данном этапе онтологизируется и выступает как предметная субстанция. В диалектическом отношении речевой континуум предстает как *одно*.

На основе речевого континуума выделяется ряд лингвистических конструкторов: «язык», «речь», «речевая деятельность», а также «текст» и «высказывание». Первые два выделялись у В. Гумбольдта⁵⁰, но специально их различение стало проводиться только в конце XIX столетия. Работы Ф. де Соссюра занимают особое место в вопросе о соотношении категорий. Ученый выделил категории языка, речи и речевой деятельности; однако последовательное понятийное оформление получили у него лишь первые две. Присутствие трех категорий традиционно считается «темным» местом соссюровского учения, причем «темнота» связана именно с неразличением речи и речевой деятельности. Между тем последнее понятие фиксирует существование речи как субстанциального континуума в противоположность речи как предмету научного познания.

Что же касается речи и языка, то их последовательное понятийное разведение связано именно с соссюровской концепцией. «После Гумбольдта практически все крупные языковеды признавали важность различения *energeia* и *ergon*, а после Соссюра – речи и языка»⁵¹ – писал К. Бюлер в 1930-е годы. Главный критерий различия языка и речи у Соссюра – это общественный характер первого в отличие от индивидуальности второго: «Разделяя язык и речь, мы тем самым отделяем социальное от индивидуального...»⁵² При этом в речи есть две стороны: «а) Все, что составляет фонацию, б) Все, что является сочетанием элементов. – Все, что есть воля»⁵³. Некоторая неясность последнего тезиса устраняется при рассмотрении его в полном контексте соссюровского учения. Принятый здесь термин «интенциональность» приблизительно соответствует тому, что Соссюр называл «волей»: направленность смыслового само-полагания индивидуальной сущности.

Г. Гийом вплотную подошел к тому, чтобы рассмотреть механизм соотношения между языком и речью через призму категорий *одного* и *многого*.

⁴⁹ Гаспаров Б. М. Язык. Память. Образ: Лингвистика языкового существования. М., 1996. С. 5.

⁵⁰ См.: Гумбольдт В. фон. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества. // Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М., 1984.

⁵¹ Бюлер К. Теория языка. Репрезентативная функция языка. М., 1993. С. 50.

⁵² Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики // Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М., 1977. С. 52.

⁵³ Соссюр Ф. де. Заметки к курсу II (1908-1909 гг.) // Соссюр Ф. де. Заметки по общей лингвистике. М., 1990. С. 171.

Гийом, однако, в своей лингвистике ошутимо смещал акцент в сторону личности говорящего, носителя высказывания. Речь у него – это *чья-то* речь; язык увиден в связи с его носителем. Отсюда более тонкая дифференциация составляющих речевого акта и внимание к организующим его психическим механизмам. Гийом выделял мысленную речь как *одно* и противопоставлял ее множественности «действительной речи»: «Мысленной речи, условно *одной*, противопоставляется огромное разнообразие действительной речи, меняющейся в зависимости от говорящих, а при одном и том же говорящем – в зависимости от обстоятельств речи»⁵⁴. При этом «мысленную речь» он относил к понятию *langue* (язык), а «действительную» обозначал как *discours*. *Parole* (говорение), таким образом, распадалось на *parole-idee* и *parole effective*. Распад именно этого термина свидетельствует о требующем дифференциации усложнении понимания процесса здесь-и-сейчас говорения. С другой стороны, примечательно подключение к оперированию одновременно с диалектическими категориями «одного» и «многого» – четвертого термина, *discours*. Мысль, обращаясь с категориями диалектического круга, естественным образом ищет тетрактиды, и в логической модели появляется четвертый член.

Если категории языка и речи рассматриваются в качестве коррелирующих друг друга, взаимодополнительных уже, как видим, весьма давно, то мысль поместить категорию текста в одном ряду с ними, расширив тем самым диаду категорий до триады, отнесется к самому последнему периоду лингвистических исследований. Она в той или иной степени прослеживается в работах С. Г. Ильенко, М. Я. Дымарского, Н. В. Максимовой.⁵⁵ «Если речь – это язык в действии, то текст... понимается как завершенное речевое произведение»⁵⁶ – пишет, в частности, С.Г. Ильенко. Завершенность «речевого произведения» в отличие от реплики содержательно обусловлена наличием в нем концептуально значимого смысла. Текст можно понимать как концептуально законченное высказывание. Тогда язык, речь и текст-высказывание могут быть рассмотрены во взаимосвязи в качестве аспектов диалектики речевой деятельности.

Континуум речевой деятельности вне-рефлективен. Становясь, он необходимо полагает себя в своем *ином*, обнаруживая в себе различие и множественность. Чтобы быть, одно находит в себе тот или иной, но определенный, *некоторый* среди многих потенциальных модус бытия. Модусом бытия речевой деятельности и является *язык* – один некоторый среди многих потенциально мыслимых. Язык антитетичен дорефлективной данности как совокупность норм; он подвижен, динамичен, но в каждый отдельный момент закончен и противопоставит речевому континууму как его иное. Целое, одно (речевой континуум) полагает себя в некоторой из множества парадигматических воз-

⁵⁴ Гийом Г. Принципы теоретической лингвистики. М., 1992. С. 39.

⁵⁵ См.: Ильенко С. Г. Синтаксические единицы в тексте. Л., 1989; Дымарский М. Я. Проблемы текстообразования и художественный текст (на материале русской прозы XIX – XX вв.). СПб., 1999; Максимова Н. В. О разнородности форм передачи чужой речи и их языковом / речевом / текстовом статусе // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. – В печати.

⁵⁶ Ильенко С. Г. Синтаксические единицы в тексте. С. 72.

можностей: принимает жанровую форму, стиль, но прежде всего обретает вообще язык как грамматическую и нормативную систему.

Следующий этап диалектики – синтез антитетичных категорий одного и иного. Он осуществляется в начале *становления*. Именно речь выступает как становление речевого континуума в языке: момент живо осуществляющегося различия между одним и множественностью, полагания одного во многом, субстанции в языке. Речь процессуальна: она всякий раз существует здесь и сейчас, речевой акт совершается в ценностно направленном действии. Речевой континуум как одно лишь потенциален; в речи он обретает свою *hic et nunc* актуальность.

Четвертое начало тетрактиды – *факт*. Осуществленное высказывание («речевое произведение») и есть факт, несущий на себе полноту троичной диалектики речевого континуума / языка / речи. Высказывание – это завершенная целостность, в которой полнота диалектики обретает выраженное и длящееся существование.

Понятия языка, речи и высказывания категориально связываются как диалектические моменты речевого континуума. Возвращаясь к разграничению языка и речи, отметим еще аспект их разницы, связанный с эйдетическим строением слова как имени. П. А. Флоренский выделял в структуре имени три слоя: асемантическую фонему; так называемую «внутреннюю форму», включающую поэтико-семантические связи сущности и мена; и собственно сущность, смысл.⁵⁷ С известным упрощением можно сказать, что из этих слоев язык целиком объемлет два наружных. А речь – явление сущностное. Таким образом, в известном утверждении В. Гумбольдта о том, что «язык есть как бы внешнее проявление духа народов: язык народа есть его дух, и дух народа есть его язык»⁵⁸, по-видимому, может быть уточнена его вторая часть. Язык не есть «дух». «Дух народа» запечатлен в его языке, но сам живет в речи.

4. Но и весь речевой континуум не есть поле, которому принадлежит определяемый предмет. Нас интересует лишь один разумно (искусственно) выделяемый участок этого континуума, а именно *словесность*. Речевая деятельность вся смыслообразна. Совершаясь с установкой на понимание и/или смыслопорождение, речь целиком intersубъектна и антропоцентрична. Однако в словесности высказывание обладает принципиально иной интенциональностью, нежели «жизненно-практическое» высказывание. Высказывание в словесности (завершенное как произведение) интенционально направлено за пределы синхронической коммуникативной ситуации: оно помещает говорящего в *диахроническое* поле культуры.

Диахроническая ориентированность дискурса словесности может проявляться двояко: а) в ориентации на тот или иной жанр, тип завершения целого, с предполагаемой им культурной (ситуативной) памятью – ретроспективная диахрония; б) в установке на сохранение и бытование создаваемого высказыва-

⁵⁷ См.: Флоренский П. А. Строение слова // Флоренский П. А. Т. 2. Уводоразделов мысли. М., 1990.

⁵⁸ См.: Гумбольдт В. фон. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества. // Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М., 1984. С. 68.

ния в «большом времени» культуры (летопись, к примеру) – проспективная диахрония. На практике оба эти типа диахронической ориентации, как правило, сосуществуют в дискурсе одного произведения. Хотя один из них может доминировать, вплоть до совершенного исключения другого: так, в заведомо неважном стихотворении на случай исключается (интенционально) второй аспект; в свободных записках дневникового типа, предполагающих, однако, возможное опубликование⁵⁹ – первый.

С этой диахронической ориентированностью связан качественно особый тип смысловой завершенности высказывания в словесности – произведения, по сравнению с завершенностью реплики – речевого действия. Произведение обладает *внутренним миром*, отличительная черта которого – ценностная упорядоченность смыслов. Внутренний мир произведения есть смысловое целое. Он обладает автономностью и, что существенно, способен становиться референтным источником интенциональности. Применительно к ситуации литературоведческого исследования В. Федоров пишет, что «сознание ученого – продукт саморазвития поэтического мира; несомненно субъективная деятельность ученого... является формой активности поэтического мира, а сознание литературоведа – органом его самосознания»⁶⁰. Роль референтной области смыслового становления в данном подходе преувеличена. Однако представляется, что не только поэтическая реальность, но и внутренний мир произведения внехудожественной словесности также является самостоятельным источником интенции.

Конечно, можно рассмотреть как интенциональный (требующий интерпретации – так в этом случае) и смысл репликового высказывания. Его актуальный смысл⁶¹ формируется интенциональным интерпретирующим усилием (и порождающим, с другой стороны). Но здесь налицо речевое действие, в котором аспект сообщения находится на первом плане; оттого и подлежит интерпретации и специальному формированию именно актуальный, а не концептуальный смысл.

Напротив, внутренний мир произведения интенционален как концептуальное целое. С известной степенью смысловой редукции он может быть рассмотрен объективированно, как данность, вне коммуникативного контекста – со структурной позиции. Концептуальная специфика внутреннего мира произведения, в отличие от смысла высказывания – то, что внутренний мир произведения есть сложный смысл, ценностно-иерархически внутри себя устроенный смысл. И интенциональным предметом референции выступает именно он, а не коммуникативная ситуация.

Интенциональность внутреннего мира произведения создает установку на больше чем однократное восприятие. Высказывание в словесности рассчитано на множественную референцию. Это подразумевает, во-первых, что высказывание существует в конкретной устойчивой или максимально прибли-

⁵⁹ Ср. напр.: В. Розанов. Уединенное; Л. Гинзбург. Человек за письменным столом. Примеры очень различные между собой, но одинаково иллюстрирующие названный случай.

⁶⁰ Федоров В. В. О природе поэтической реальности. С. 16.

⁶¹ См.: Долинин К. А. Интерпретация текста. М., 1985. С. 7.

женной к устойчивости формой. Если это не абсолютная устойчивость, то устойчивость инварианта, с которой приходится постоянно иметь дело в фольклоре – и не только в нем: воспроизводя стихотворение по памяти, мы можем сбиться в порядке слов, перестроить какую-то фразу, и целое от этого пострадает незначительно. Во-вторых, предполагаемое возвращение к тексту высказывания обуславливает осуществление последнего в специальной «фасцинирующей» форме, которая провоцирует, психологически мотивирует возврат.

Устойчивые формы, в которых существует словесность, есть жанры. Бахтин показал, что «первичные» речевые жанры – основа и материал возникновения «вторичных» жанров словесности. Жанры словесности обладают историчной, диахронической природой: они суть «формы для отливки культурного опыта»⁶². Обращенность словесности к культурному адресату предполагает придание высказыванию определенной формы – канонизированной или апеллирующей, восходящей к некоторому прецеденту, своим фактом его изменяющей, хотя и учитывающей. Апеллируя в высказывании к жанровому образцу, носитель речи апеллирует к культурному опыту адресата.

Наконец, существенно, что задача, которую ставит перед собой носитель высказывания в словесности, отлична от задач бытовой коммуникации. Эта задача – *творческая*, предполагающая участно-преобразующее приобщение смысловому полю культуры, а через нее – бытия. Установка на решение такой задачи создает специфику словесности в коммуникативном аспекте.

Путь решения творческой задачи для самого говорящего – во-первых, усложнение представления об адресате, создание его образа в культурном смысловом контексте. Фактически, адресация идет не к человеку, но к человеку-в-культуре. Адресат в словесности мыслится с некоторой степенью обобщенности: это не просто индивид, но в первую очередь культурный индивид, носитель культурного опыта. Поэтому и обращение к нему – не только (или не столько) личное обращение, сколько обращение в его лице к целой группе, представителем которой он является. Эта группа – диахроническое единство личностей, причастных определенному ценностно-культурному полю. Даже если форма высказывания – интимно-лирическое стихотворение в альбом конкретной женщине, то и здесь адресат – конкретный носитель общего качества. Носитель высказывания предполагает, что получатель его лирической адресации ожидает именно такой формы сообщения о чувстве, сформированной поколениями культурного опыта. Речевой акт при этом несет на себе отпечаток социокультурной рефлексии говорящего. С другой стороны, сама форма высказывания помещает адресата в определенную ценностно-культурную позицию – и от того, насколько эта позиция соответствует самовосприятию, самооценке адресата, во многом зависит успех коммуникации.

Во-вторых, творческая задача обязательно влечет за собой также и выбор предмета, или темы. Точнее: предмет речи и ее адресат связаны взаимной зависимостью. Носитель высказывания в словесности (автор) обращается к своему виртуальному адресату с речью на определенную тему. Диахронической интенциональностью обусловлено то, что рамки словесности (и статус произведе-

⁶² Бахтин М. М. Эпос и роман // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 447.

дения) определяются границами самой культуры, ее смысловым полем. В русской культуре в силу обстоятельств, описанных Б. Успенским, нормативной кодификации как «культурное» изначально подлежало лишь то, что так или иначе соотносилось со сферой сакрального, то есть с христианством. Даже «административное, юридическое как бы выключалось из области подлинной культуры»⁶³. Разумеется, с течением времени эта ситуация изменялась; но по крайней мере до XVII века культура – а соответственно, и письменная словесность – оставалась соотнесена именно с сакральным содержанием: с тем, что имело отношение к исторической действительности жизни Церкви.

И в-третьих, само речевое поведение говорящего, тип его тоже существенны для определения принадлежности высказывания к области словесности. Еще не форма высказывания, не его данность, а лишь его замысел, речевое намерение уже помещают (или не помещают) речь в область словесности. Даже если я пишу неважное (заведомо) стихотворение «на случай», то это уже использование жанра «стихотворения на случай», с допустимыми в нем риторическими и поэтическими погрешностями. Творческая интенция сказывается на выборе типа завершения целого высказывания (произведения).

Таким образом, бытование произведения в словесности существенно отличается от функционирования высказывания в речи. В дискурсе словесности коммуникативная функция речи уходит на второй план, уступая место творческой функции смыслового становления. К. Бюлер различал среди порождаемых человеком высказываний «речевое действие» и «языковое произведение». «Существуют ситуации, в которых с помощью речи решается актуальная в данный момент жизненная задача, то есть осуществляются *речевые действия*. Но есть и другие обстоятельства, когда мы в поисках адекватного языкового выражения творчески работаем над данным материалом и создаем *языковое произведение*.»⁶⁴ Оставив в стороне речевую или языковую атрибуцию, приписываемую ученым «действию» либо «произведению», отметим, что Бюлер для спецификации «произведения» как особой, маркированной речевой формы прибегает к понятию «творчества».

И тогда, сообразуя сказанное с проводимым сущностным подходом, мы видим целесообразность терминологического использования понятия «*творчество*», позволяющего выделить словесность из континуума речевой деятельности и отличить произведение от всех вообще высказываний. «*Творчеством* мы станем называть *смыслопорождающее (речевое) поведение, интенция которого направлена выше повседневного уровня коммуникации*. Творческое поведение определяет позицию субъекта в коммуникативном событии; уровень адресации и характер референтного тематического поля связаны с ним взаимно-необходимой зависимостью. Коротко говоря, творчество – это: а) диахроническая культурная интенциональность; б) смысловое целое внутреннего мира произведения как предмет референции; в) тяготение к жанровой завершенности.

⁶³ Успенский Б. А. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.). М., 1994. С. 16.

⁶⁴ Бюлер К. Теория языка. Репрезентативная функция языка. М., 1993. С. 54.

Здесь, как видно, понятие творчества ценностно не связывается с достоинством созданного произведения, не является его мерилom. Творчество – это становление и воплощение смысла. Характер же осуществленного воплощения определяется различными причинами, которые могут подлежать отдельному рассмотрению.

В диалектическом отношении словесность, взятая как *одно*, закономерно обретает свое существование в сфере *иного*. Иным для словесности выступает совокупность жанров, обладающих исторической устойчивостью в связи с тем или иным типом смысла, для передачи которого они приспособлены. Поскольку мы говорим о словесности, то имеются в виду «вторичные», по Бахтину, речевые жанры. Совокупность их составляет жанровую систему словесности на определенном этапе ее развития. Поэтому «иное» для словесности – система жанров: это и есть та множественность, в которой единство словесности обретает разумное существование.

Становление словесности как одного во множественности жанровой системы происходит как творчество. Творчество представляет собой третье начало диалектического конструирования словесности: типологически оно сопоставимо с речью, которой и является, но внутри которой специфицируемо по названным выше основаниям. И четвертое начало диалектики – *факт* – в словесности представлено *произведением словесного творчества*. Произведение словесного творчества (ПСТ) – это особый тип высказывания, становление которого задается творческой интенцией.

Сведем воедино все этапы смыслового конструирования предмета. Полученная таблица принимает следующий вид:

<i>Одно</i>	<i>Иное</i>	<i>Становление</i>	<i>Факт</i>
Деятельность	Типы практики	Поведение	Поступок
Речевая деятельность	Язык	Речь	Высказывание
Словесность	Жанры	Творчество	Произведение словесного творчества

Работая со словесностью, мы в каждом отдельном случае имеем дело с конкретным фактом – произведением словесного творчества. На каждом этапе исследования именно оно становится непосредственным предметом внимания. В поле нашего зрения одновременно находятся два уровня: макроуровень, на котором располагается словесность как целое, и уровень конкретных произведений. Продолжая сущностное понимание словесности и в связи с ним результируя сказанное, определим теперь как предмет *произведение словесного творчества*: оно будет определяться как *логос Единого, а также «соборный» логос, в человеческом слове*. Поскольку в человеческом слове Сущность познает себя, то возможный вопрос о направлении интенции – от человеческой личности к Единому или наоборот – предстает некорректным.

* * *

Предмет исследования, понятый так, как предложено в настоящей статье, не оставляет возможности считать само исследование литературоведческим, если рассматривать слова «литературоведение» и «поэтика» как синонимы. Во главу угла при спецификации предмета поставлена не категория художественности, а категория творчества, пусть и определенная нами в первоначальной и терминологически «зыбкой» формулировке. В результате в понятии «произведение словесного творчества» объединяются культурные высказывания и художественного, и научного, и публицистического характера. И это, с точки зрения статуса предмета, нормально: ведь нельзя отрицать, что творчество бывает не только художественным, но и научным, и журналистским; и состоит оно в форме словесных высказываний, которым свойственна «вторичная» жанровая оформленность.

Подобного рода нехудожественные высказывания в эпоху рефлексивного традиционализма находились в ведении риторики, тогда изучавшей и систематизировавшей приемы красноречия. Сегодня риторика занимается наиболее общими принципами порождения и функционирования высказываний. Задаваясь вопросом о месте ПСТ в предметной сфере научных дисциплин, мы вновь и вновь возвращаемся к мысли, что этот феномен вправе претендовать на статус предмета «исторической риторики», по аналогии с «исторической поэтикой» занятой генезисом и типологией способов завершения целого в нехудожественной (а отчасти – и художественной) словесности. Как Логос порождает словесность? как притом словесность обретает художественное качество? – вот проблемное поле, разработкой которого призвана заниматься дисциплина, предположительно названная нами «исторической риторикой». Эмпирические исследования материала словесности должны показать, насколько оправдано введение такого дисциплинарного неологизма; однако представляется, что проведенное в настоящей статье обособление ПСТ как научного предмета дает к этому непосредственную предпосылку.